

---

Елена Бальзамо  
Франция

«...ВЫПОЛНЯТЬ СВОЙ ДОЛГ. НА СВОЁМ МЕСТЕ»:  
ЛИЧНОСТЬ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
В «КРАСНОМ КОЛЕСЕ»

*Жизнь и творчество Александра Солженицына:  
на пути к «Красному Колесу»: сборник статей / сост.  
Л.И. Сараскина. М. : Русский путь, 2013. С. 28–39*

Не будет преувеличением утверждать, что в эпоху, на которую приходится работа над «Красным Колесом», в России (Советском Союзе) доминировало представление о том, что роль человека в истории минимальна. Две мировоззренчески противоположенные традиции в этом пункте смыкались: толстовская традиция (давшая в XX веке «Доктора Живаго») и традиция диалектического материализма, отводившая главную роль в историческом процессе массам. Марксистская философия в этом вопросе проста и непротиворечива: историю делают массы (классы) и отдельный человек либо способствует этому постижимому, телеологически направленному процессу, либо оказывается вытолкнутым на обочину истории. Толстовская историософия, более нюансированная, сводится к парадоксу: пути Господни неисповедимы и ценность вклада личности в исторический процесс определяется степенью осознания этой личностью бессмысленности любой попытки повлиять на течение событий. Неудивительно, что для Солженицына, писателя, поставившего перед собой задачу понять механизмы событий, приведших к катаклизму мирового масштаба, необходимо было в первую очередь выработать отношение к роли личности в истории.

Выделение в потоке происходящего Узлов подчёркивает обратимый характер исторического процесса. Эта обратимость солженицынской истории придаёт ей трагический оттенок: сколько упущенных возможностей — столько сожалений. Но обратимость не означает произвольности: история не конгломерат непредсказуемых случайностей. Случай — прежде всего некая потенция, возможность, предоставленная человеку Провидением. От человека же зависит, воспользуется ли он ею, чтобы повернуть в желаемую сторону ход событий<sup>1</sup>.

Роль личности в «Красном Колесе» велика не только потому, что речь идёт о литературном произведении, которое нуждается в персонажах, но и — в первую очередь — потому, что человек — краеугольный камень всей историософии автора. Человек свободен в своих действиях, ему дана возможность прислушаться к ходу истории, извлечь выгоду из предоставляемых ею возможностей, и, если он не делает этого, вина целиком и полностью его соб-

ственная. Ответственность личности за ход исторического процесса, таким образом, исключительно велика: «И в самых тоталитарных, и в самых бесправных странах мы все несём ответственность — и за своё правительство, <...> и за походы наших военачальников, <...> и за выстрелы наших пограничников, и за песни нашей молодёжи»<sup>2</sup>. Ответственность — оборотная сторона *наличия*, а значит, и *неизбежности* выбора, и коллективного, и в первую очередь индивидуального: «И слой, и народ, и масса <...> состоят из людей, а для людей никак не может быть закрыто будущее <...>».

Будущее — неистребимо, и оно в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы»<sup>3</sup>.

Тем не менее личная ответственность не математическое частное, полученное в результате деления коллективной ответственности на количество членов того или иного коллектива: нации, прослойки, армейской роты... Она — производная от возможности действовать конкретного человека. Поэтому имеет смысл пристальнее присмотреться к природе и источникам этой возможности: зависит ли она от личной воли? подвержена ли изменению? каков радиус её действия?

Из обратимости исторического процесса следует необходимость консенсуса: сумма волевых усилий каждого должна вылиться в составляющую, дающую необходимый импульс. Это не толстовская сумма микроскопических личных волей: персонажам «Войны и мира» не дано знать, в чём состоит их воля, они думают, что хотят одного, а в действительности хотят другого; результирующий импульс (Провидение) не известен никому. По Солженицыну, воля может быть только сознательной, даже если глобальный замысел остаётся тайной: «Слово Провидение не хочется употреблять всуе. <...> Я — убеждён в присутствии Его в каждой человеческой жизни, <...> и в жизни целых народов. Только мы так поверхностны, что вовремя ничего не можем понять. Все изгибы жизни нашей мы различаем и понимаем с большим-большим опозданием»<sup>4</sup>.

Человек несёт ответственность за свои действия, и чем большей властью он облечён, тем больше ответственность: «Никакими добродетелями не загородится, не оправдается тот, кто взялся вести судьбы тысяч — и худо вёл их. Пожалеет солдата-новичка под первыми пулями и разрывами в захвате злой войны, а генерала-новичка, как бы ни было муторно ему и тошно, — не пожалеет, не оправдаем»<sup>5</sup>. В этом — прямая полемика с Толстым: «И тут бы утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями, — да слишком много раз показал нам XX век, что именно они» (1; 383). Позиция Толстого тем более ошибочна, что она, в конечном счёте, оправдывает безответственность: поскольку повлиять на ход событий всё равно невозможно, лучше и вовсе не пробовать. В разговоре с Варсонофьевым Саня подводит итог: «Толстовское решение — не ответственно. И даже, боюсь, по моему... не честно» (1; 403).

Отказ от активного вмешательства представляется Солженицыну ошибочным с точки зрения нравственности, роковым для самой личности. Такой персонаж, как Самсонов, — лучшая иллюстрация этого положения. Автор осуждает не его самоубийство, но (без)действия, сделавшие оное неизбежным: генерал не проявляет должной активности, плывёт по течению — и, когда он наконец понимает, что произошло, ему не остаётся иного выхода, как пустить себе пулю в лоб: «Когда и как Самсонов проиграл сражение? Когда и как? — он не заметил» (1; 381). Неустанно на протяжении 6 тысяч страниц «Красного Колеса» Солженицын повторяет: опускать руки — преступление, история — прежде всего столкновение воли и победа обеспечена обладателю наиболее сильной.

Воля отдельного человека «коммуникабельна», её можно передать окружающим. Отсюда роль слова, способности — или неспособности — героя обратиться к аудитории, увлечь её за собой, отсюда же многократные сообщения о реакции публики на разных ораторов. Воля коллективная, таким образом, почти всегда зависит от воли индивидуальной: «Перенесите нарвцев на место дорогобужцев <...> (но, с Толстым не смерясь, дайте им Кабанова и его батальонных командиров) — и взойдут они на то возвышение, где простых мужичков мы начинаем понимать богатырями» (1; 388). В этом — глубокое убеждение писателя, и он неоднократно возвращается к нему на страницах «Красного Колеса»: «Но один полк — один *народ*, другой полк — другой *народ*. <...> А вообще всякий полк занимает только протяжение, содержит невыразительное число, а войну делают — охотники, разведчики, смельчаки, первые атакующие. Как и историю делает — отборное меньшинство» (3; 332).

Толпа у Солженицына — образование нестойкое, велико количество сцен, демонстрирующих разного рода манипуляции массами: солдатами, крестьянами, но также думскими депутатами и даже министрами. Эти сцены рисуют неустойчивость больших скоплений людей, зыбкость суждений, тенденцию присоединиться к мнению последнего оратора. Отдельно взятый крестьянин вполне может быть выразителем народного духа, но группа крестьян, но толпа — никогда. Неслучайно Благодарёв, воплощение русского крестьянства, никогда не показывается в качестве члена какого бы то ни было «коллектива».

## ДИАЛЕКТИКА ВЛАСТИ

В «Августе Четырнадцатого» решающий аргумент полемики с толстовским видением истории приводится в связи с немецким генералом фон Франсуа: «В решении Гинденбурга-Людендорфа, — пишет автор, — содержалась верная победа средних людей. Лишь не было блеска интуиции. Эта интуиция светилась у своевольного Франсуа, вероятно, не ведавшего о совете Льва Толстого, что “бессмысленно становиться на дороге людей, всю свою энергию на-

правивших на бегство». И сверх приказа гнал и гнал Франсуа своих уланов, самокатчиков и блиндированные автомобили через Найденбург — и дальше на восток, к Вилленбергу!» (1; 394).

Тут не отрицание необходимости дисциплины (Солженицын, сам армейский офицер, отлично знает ей цену), а пример деятельности, вырывающейся из узких рамок дозволенного, пример, уникальный в галерее военных «Красного Колеса». Все остальные армейские чины эпопеи страдают противоположенным недугом — их способность принимать решения обратно пропорциональна их месту в иерархии: «Но с первого же сражения мелькают русские генеральские знаки как метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней <...>. (И тут бы утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями, — да слишком много раз показал нам XX век, что именно они.)» (1; 383).

Отсутствие вождей, банкротство элит становятся лейтмотивом эпопеи: «О, почему подчинённость всегда идёт обратно степени таланта?!» (1; 241); «Но почему понимание всегда слонится ниже власти?..» (1; 250); «Вождя бы! Быстрого, умного, энергичного генерала, которому сразу поверила бы Армия и за ним пошла! <...> И в военной истории такие вожди сколько раз появлялись в нужный момент. А вот у нас — нет. С нами так худо — что уже и нет» (7; 103–104). Нехватка лидеров — результат самой системы отбора военных кадров. И не только военных: на всех уровнях власти отрицательный отбор играет огромную роль. И поскольку монархический строй представляет собой пирамиду, сужающуюся к верхушке, самое страшное — то, что на вершине вертикали власти находится человек, не способный правильно её использовать: император.

«Но если твёрдой руки наверху — именно и нет? Если Государь всё направляет не туда или даёт разваливаться?» (4; 475). Воротынцев, задающий эти вопросы, не может ответить на них. Но, формулируя их, он нащупывает болевую точку системы: даже самый закостенелый государственный механизм не в состоянии полностью парализовать всякое движение — тогда как профнепригодность человека, стоящего у кормила власти и сосредотачивающего, воплощающего в себе эту власть, в конце концов, приводит к параличу системы.

Отсюда в композиции «Красного Колеса» расположение персонажей, напоминающее иконостас: важность каждого выражается не только в занимаемой позиции, но и в размере. И там, где православная традиция помещает Христа, Солженицын помещает того, чья власть непосредственно от Него: русского императора.

Николай II ни на секунду не забывает о том, что он — помазанник Божий и ответственен за судьбу страны. «Самому — ему нисколько не нужна власть, он <...> нисколько за неё не держится. Но он не может вдруг посчитать, что он не ответственен перед Богом. <...> И не может Государь сложить с себя ответ-

ственность перед русскими людьми. Да как бы он был вправе: передать управление Россией людям, которые к этому не призваны?» (6; 457). Трагедия в том, что гипертрофированное чувство ответственности, вместо того чтобы стимулировать, полностью парализует Государя, лишая возможности действовать. Кроме того, сознавая уникальность уз, связующих его с Россией, он отказывается признать за кем бы то ни было право распоряжаться её судьбой.

Не только объём ответственности парализует волю императора, но и сложность каждой конкретной ситуации, требующей решения: слишком многочисленны и противоречивы её составляющие, а главное, они постоянно принимают форму *личных мнений* окружающих его людей. Выбор, таким образом, сводится к тому, чтобы отдать предпочтение тому или иному человеку, что, в свою очередь, лишает его объективного содержания в глазах самого императора и обесмысливает факт принятия решения: «Всегда все добиваются с докладами, мненьями, одни хотят одного, другие противоположного <...>. Но как ни реши — всегда общество свистит, улюлюкает, недовольно» (6; 619).

Солженицын убеждён, что эта пассивность не имеет реальной основы: царь обладает свободой действия, власть его неограничена, и тяжкий грех его состоит именно в том, что он этой властью не пользуется. Бесконечен перечень ситуаций, в которых он мог бы изменить курс событий, повернуть русло истории: избежать войны с Японией, «начатой как во сне», смягчить конфликт с «обществом», а главное, не позволить втянуть Россию в круговорот мировой войны.

Почему этого не произошло? Автор даёт своему герою возможность объяснить: гигантский монолог Николая раскрывает механизмы психики «антиисторического» деятеля. Оказывается, невозможность играть историческую роль — не в недостатке ума, не в отсутствии мужества или любви к Родине, но в странной глухоте: Николай не слышит пульса времени, не чувствует историю, он не в состоянии нащупать её Узлы: «Его изводило, тянуло в разные стороны, разрывало. Он должен был вот сейчас, вот сейчас принять величайшее решение! — и ни присутствующие, ни отсутствующие, никто не мог помочь ему советом, а голос Господа не слышен был явно. Сколько было у него министров, генералов, великих князей, статс-секретарей — а решать он всегда обречён был сам, колеблющейся, измученной душой!» (1; 449).

Не способный ни понять происходящее, ни принять решение, Николай, тем не менее, *обречён действовать*. Чем же ему руководствоваться? За отсутствием продуманной линии поведения, император действует в соответствии с единственными доступными его пониманию законами: *этикой частного лица, правилами семейной жизни*. Не только в отношениях с министрами, но и в отношении, например, императора Вильгельма, разрыв с которым воспринимается Николаем как «переход в другую семью» (1; 455). Поведение Николая в критические дни начала революции также целиком подчинено этим

правилам, вплоть до отречения, которое по сути является окончательной победой частного человека над общественным деятелем:

«<...>черезусильная и стеснительная улыбка выказалась на его больших губах под густыми усами:

— А как вы думаете, Николай Владимирович, теперь смогу я проехать в Царское Село? Ведь у меня, знаете, дети больны корью» (6; 482).

Эти слова обращены к генералу, только что вырвавшему у него отречение, — семья оказывается важнее России.

Трагедия монарха — в непростительном смешении сферы частной со сферой общественной. Характерно, что, как только император сходит с подмостков истории, он немедленно вырастает как личность: Николай — отец семейства и христианин руководствуется безошибочным нравственным чутьём. Отныне его задача состоит не в спасении России, а в спасении собственной чести и достоинства, и, как известно, с этой задачей он справится.

Гигантскому монологу царя противостоит гигантский монолог его антипода — Ленина. Антипода прежде всего в плане отношения к России. Насколько велико, мучительно — и в конечном счёте губительно — для русского императора ощущение своего симбиоза с государством и ответственности за его судьбу, настолько Ленин чужд и враждебен России. Его интернационализм представляет собой изнанку его русофобии: «И что ж можно вымесить из российского кислого теста! И зачем он родился в этой рогожной стране?! Четвертушкой ли крови он связан так, что привязала судьба к дрянной российской колымаге?» (4; 119). Из чего логически следует, что «рогожную страну» следует не реформировать, а просто разрушить.

Подобно императору, Ленин тоже полностью оторван от эмпирической реальности, но по другим причинам. Он — узник абстрактных идеологических построений, производных от чтения философских трудов и злободневной прессы. При первой же необходимости реального действия его неспособность не оставляет сомнения: «Ленин — писал статьи. Брошюры. Читал рефераты. <...> Всеевропейски сёк оппортунистов. <...> Он понимал теперь, что такое война, и как ведётся вооружённое восстание. И с настойчивой ясностью мог это всё разъяснить, кому угодно. И только одного он не мог — *сделать*. Только не мог он — взорвать броненосца» (4; 213). Реальность пугает его, она непредсказуема, путает его расчёты, сбивает с толку — и он предпочитает не видеть её: «Лишь два часа назад, к обеду, так было всё ясно: раскалывать шведскую партию и что для этого надо читать, писать и делать. Но вот пришло со стороны недостоверное, невероятное и ненужное событие и как будто даже не задело, не столкнуло, — а вот уже сталкивало» (6; 670).

Пока утопия не пришла к власти, пока реальность ещё управляется законами реальности, Ленин остаётся маргиналом, объектом всеобщих насмешек. До самого отъезда (отправки!) в Россию он — не более чем пешка в гигант-

ской партии, разыгрываемой гроссмейстером Парвусом: «<...> совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской денежной и материальной поддержке» (4; 180). Позже, приехав в Россию, расшатанную двумя месяцами анархии, Ленин среди возникшего хаоса начнёт претворять выношенную в эмиграции теорию в практику. Нигилистические элементы, побочный продукт всякой революции, послужат ему приводными ремнями.

В солженицынском «иконостасе» исторических деятелей император находится на самой вершине, Ленин же равноположен — и противопоставлен — не столько ему, сколько Столыпину, образуя своего рода контрастный диптих: разрушитель и созидатель.

Столыпин дан автором не через внутренний монолог, а посредством развёрнутой хроники. Это, по-видимому, связано с тем, что мы имеем дело с персонажем, действия которого важнее душевного состояния. Задача писателя — показать, как можно было бы обустроить Россию; мысли и переживания героя остаются обрамлением, развёрнутым комментарием к его *поступкам*. Несмотря на то что Столыпин дан в «Красном Колесе» как личность судьбоносная, олицетворяемая им потенция в значительной мере остаётся нереализованной. Этот человек мог бы стать спасителем России — мог бы, но не стал. Он не совершает ошибок и, тем не менее, терпит поражение. Почему? Понять причины этого поражения — значит получить ключ к историософии Солженицына. Судьбоносность Столыпина в том, что он олицетворяет наличие выбора. То, что в начале своей деятельности он совершенно одинок и оказался облечённым огромной властью почти случайно («Среди сотен государственных назначений — почти всегда ошибочных, близоруких, даже ничтожных — чудо русской истории было это назначение <...> на рубеже нового, думского периода России» (2; 173)), в данном случае не столь важно: подобные личности — явление всегда и везде уникальное. Проблема в том, что его появление не только не влечёт за собой возникновения широкого слоя единомышленников — наоборот, развитие событий лишь усугубляет его изоляцию. Его отвержение обществом, которое он призван спасти, заставляет заподозрить наличие неизлечимого дефекта: общество не способно распознать и принять своего спасителя. Поставленное перед выбором между неидеологическим государственным деятелем и спектром идеологий, олицетворяемых различными политическими партиями, общество, развращённое десятилетиями революционной пропаганды, делает выбор в пользу идеологии. Оно открыто радуется исчезновению Столыпина и не скрывает симпатии к его убийце, даже не задаваясь вопросом о том, «а имеет ли право 24-летний хлюст единолично решать, в чём благо народа, и стрелять в сердце государства, убивать не только премьер-министра, но целую государственную программу, поворачивать ход истории 170-миллионной страны?» (2; 282).

Можно ли, однако, утверждать, что растущая изоляция Столыпина была случайностью? Почему Ленин смог увлечь за собой людей, а Столыпин — нет? Ответ на этот вопрос включает в себя несколько элементов. Во-первых, Столыпин мыслит не партийными, а общенациональными категориями, то есть может рассчитывать только на силу и обаяние собственной личности. Во-вторых, в отличие от Ленина, игравшего на низменных инстинктах: честолюбии, страхе, властолюбии, Столыпин делает ставку на разум и альтруизм. Ленин стремится стать *хозяином* страны, у Столыпина всякое чувство ответственности по отношению к России отсутствует, на его месте — чувство долга. Корни его — в монархизме, в убеждении, что долг подданного — в служении Государю. В результате, даже когда он оказывается на вершине административной пирамиды, положение его продолжает оставаться шатким, угроза потерять власть (а с ней и возможность действовать) висит над ним постоянно.

## ЛИЧНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВ

Отравленное идеологией общество неизбежно приходит к саморазрушению. Что это за яд и кто ввёл его в организм нации? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо от персонажей-личностей обратиться к персонажам коллективным. Солженицын заостряет внимание на двух группах политических деятелей: либералах (Родзянко, Маклаков...) и большевиках (Ленин, Троцкий, Нахамкес...). В каждой из них коллективные черты явно преобладают над индивидуальными.

Русские либералы, по мнению автора, не оригинальные мыслители, а эпигоны; в теоретическом плане они — не творцы, а потребители. А значит, и неизбежно догматики: политическая теория сводится к набору догм: демократия, свобода печати... В этом смысле они мало чем отличаются от социалистов всех мастей: и те и другие — рабы идеологии. Подобно вирусу, идеология, проникая в человеческое сознание, парализует свободу мысли, она — «нечто, похожее на болезнь: она передаётся от соприкосновения и никак нельзя устоять» (3; 348). Действия политика, заражённого этим вирусом, не может принести ничего, кроме вреда, идеологические шоры сужают поле зрения, человек становится невосприимчивым к «шуму истории»<sup>6</sup>. Отрыв от реальности приводит к невозможности правильно оценить происходящее и повлиять на ход событий: «Может быть уже и пришёл исторический момент — брать власть? Как это узнать? Где это прочесть достоверно?» (5; 608) — размышляет встревоженный Милуков. Ответить на этот вопрос ни он сам, ни его соратники не в состоянии.

«Как же могла блистательная кадетская партия, цвет мыслящей России и главный оппонент царизма, — после падения его не заполнить собою правительства, не составить сверкающего ряда министров <...>? Как получилось,

что кадетская партия добровольно уступила правительство какому-то бледному сброду, да истерикам...» (9; 418), — удивляется юрист (и кадет) Набоков. И действительно, либералы не берут власть, а скорее подбирают её, с тем чтобы несколько месяцев спустя отдать без сопротивления большевикам. Гучков, сам из их числа, вынужден признать: «Благостный князь Львов. И опять же этот неуравновешенный идиот Владимир Львов, и ещё один глупец казачина Караулов. И ещё один неуравновешенный, романтик Шульгин <...>. Да куда ж они годились?» (7; 95). Неспособные управлять событиями поодиночке, они ещё более бессильны как коллектив: с момента своего создания Временное правительство колеблется, мнётся, упуская один за другим шансы спасти положение. Ни человеческие качества (Шульгин), ни ум и добрая воля (Шингарёв), ни талант и самоотверженность (Гучков) не в состоянии ни преодолеть бессилие, ни скорректировать искажённое представление о происходящем. Солженицын сознательно смешивает политические нюансы, чтобы нагляднее выявить общие черты. Для него существуют лишь два лагеря: те, чья деятельность диктуется идеологическими догмами, с вытекающей отсюда партийностью, и те, кто опирается на систему ценностей, не имеющих, по мнению писателя, идеологической окраски: ценностей общенациональных, «патриотических». Подход, который можно было бы упрекнуть в схематичности, если бы автор не приложил больших усилий к описанию нестандартных, пограничных персонажей: Церетели, Гучкова, Шульгина, Маклакова.

Итак, «интеллигенция <...> сбобела, запуталась, её партийные вожди легко отрекались от власти и руководства, которые издали казались им такими желанными, — и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, докатилась до тех, что ловили её и были кожей приготовлены к её накалу (впрочем, тоже интеллигентские руки, но особенные)»<sup>7</sup>. «Особенные руки» принадлежали известно кому: большевикам. Но и не только им: на левом краю политического спектра внимание автора привлекают две группы деятелей: Советы, в которых преобладают меньшевики, и фракция большевиков. Отношения между ними строятся по классической схеме: умеренные элементы постепенно подавляются и вытесняются экстремистами.

Схема эта хорошо известна, и мы не будем на ней останавливаться. Более интересными представляются различия. Советы представлены как сборище авантюристов, не имеющих иных точек соприкосновения помимо идеологического бешенства. Гиммер, Скобелев, Нахамкес — бесы, делающие всё возможное, чтобы «раскачать» страну и сделать её неуправляемой. Один из наиболее ярких примеров — Церетели, по-человечески один из наиболее симпатичных представителей социалистического лагеря, деятельность которого, тем не менее, безответственна и преступна, ибо личные качества в конечном счёте оказываются подавленными идеологической одержимостью. Остальные социалисты представлены как скопище монстров, порождение фанатизма и

честолюбия. Характерно, что разница между персонажами этой группы и либеральными политиками оказывается при ближайшем рассмотрении чисто количественной: левые менее образованны, хуже воспитаны, по-человечески менее достойны, — иными словами, они представляют не качественно новый тип политических деятелей, а своего рода дегенерировавших либералов. Керенский, промежуточное звено, осуществляющее смычку между Временным правительством и Советами, чувствует себя одинаково вольготно и здесь и там.

Подобно либералам, социалисты — всё же личности: насколько позволяют им идеологические шоры, они реагируют на происходящее, действуют. Они, конечно, живут в мире теней, но этот мир обладает собственной логикой. Узы, связывающие некоторых из них с политическими партиями, довольно слабые, политическая ортодоксальность обратно пропорциональна оригинальности мышления каждого. Они — своего рода волки-одиночки, сбившиеся в стаю не столько в силу внутренней необходимости, сколько под давлением обстоятельств.

Совершенно иную картину представляют собой большевики. Пользуясь терминологией Солженицына, тут скорее «бесцветные ничтожества», нежели сборище «истериков», — ни о каких личностях речь уже не идёт. Художественный приём, позволяющий автору дать рельефное изображение той или иной политической группировки, состоит в предоставлении слова наиболее незаурядному её представителю, одновременно разделяющему её взгляды и держащему некую дистанцию по отношению к ней. Таков персонаж Гучкова среди либералов, Церетели — среди социалистов; среди большевиков аналогичная роль отводится дезертиру Ленартовичу. Этот на глазах левеющий выходец из «хорошей семьи» становится в «Апреле Семнадцатого» гидом читателя в штаб-квартире большевиков.

Изначальное сближение Ленартовича с Гиммером носит прежде всего тактический характер, идеология играет второстепенную роль. Цель его — *служить* революции, *командуя* теми, кто её совершает. То самое тесто, из которого выпекутся будущие аппаратчики. Тактические соображения со временем полностью вытесняют идеологические, и вот уже политическое чутьё подсказывает Ленартовичу, что наиболее подходящая для него партия — большевики. Свободный от идеологической предвзятости, он различает главное: эта партия — идеальное орудие для захвата власти. Точка зрения, которую разделяет и автор: суть деятельности большевиков именно в этом, идеология — не более чем камуфляж. Карьерист Ленартович чётко выражает эту идею, и писатель охотно предоставляет ему слово. 29 апреля молодой человек присутствует на собрании в особняке Кшесинской: «<...> что было несомненно — что вся верхушка партии собралась теперь вот здесь <...>. Гололицый Бубнов <...>. Курчавый, мягкий Рыков <...>. Скрытный вкрадчивый Свердлов с Урала <...>. Кудлатый, широколицый <...> Зиновьев, без следа ума в лице и взгляде <...> —



### Примечания

<sup>1</sup> См.: *Balzamo E.* L'idée de la Providence chez Alexandre Soljénitsyne // *Le Phénomène Soljénitsyne*. Paris: Editions François-Xavier de Guibert, 2010. Pp. 213-228; *Бальзамо Е.* Человек в истории: Солженицын и Ипполит Тэн // *Новый мир*. 1996. № 7. С. 195–211.

<sup>2</sup> *Солженицын А.И.* Публицистика. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1989. Т. 1. С. 52 (1-я паг.).

<sup>3</sup> Там же. С. 112.

<sup>4</sup> Там же. С. 371 (2-я паг.).

<sup>5</sup> *Солженицын А.И.* Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках: В 10 т. Париж: YMCA-Press, 1983–1991. Т. 1. С. 384. Далее цитируется это издание с указанием в скобках тома и страниц; сохранена авторская орфография и пунктуация.

<sup>6</sup> Подробнее см.: *Balzamo E.* Soljénitsyne: aux origines de la Russie contemporaine. Paris: Editions de Paris, 2002. Ch. 4. Acteurs de l'Histoire.

<sup>7</sup> *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 1. С. 85.